

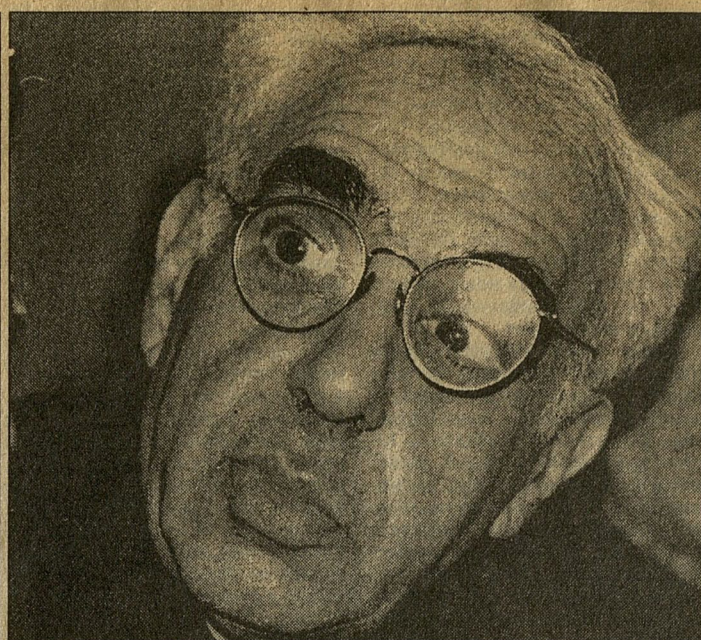
Павел Белицкий

ПОЭЗИЯ — колонизация времени, в том же смысле, в каком мы говорим о колонизации земли. Привнесение унаследованной традиции и взращивание ее на новой почве. Дух поэзии — дух освоения. Поэт преодолевает хлещущую стихию своей эпохи, так же, как Колумб укрощал пространство океана — а тот не столько открыл Америку, сколько дал направление: на Запад.

Направление в поэзии, может быть, важнее ее цели, в том смысле, что цель всегда одна, сама ли поэзия, или еще что-то, неважно: разница определений говорит всего лишь о различии маршрутов и еще о том, что цель эта явно пребывает в мире статичного идеального. И что только в собственной, личной к ней направленности, поэт может обрести реальность состоявшейся поэтической судьбы.

И только в смысле направления можно говорить и о *ведущих* поэтах...

Со смертью Иосифа Бродского осиротела не поэзия — в ней он занял свое место и в ней-то он живет (достаточно открыть книгу, чтобы в этом убедиться), «осиротело», скорее, поколение его эпигонов. Собственно, они и при Бродском были сиротами: пытались следовать за ним, увлеченные неслыханной ранее интонацией, они не отдавали себе отчета в том, что поэтика Бродского — поэтика безнадёжного одиночного плавания, совершенной отстраненности, безысходного, закупоренного индивидуализма, и потому любые последователи (тем более целая их эскадра) здесь так же невозможны, комичны и противуслышны, как, например, фраза «группа отдельных товарищей». Подражая ему по форме, они именно как масса, как скоп — абсолютно и принципиально были антагонистичны тому, что определяло интонацию Бродского в самом ее существе.



Поэт Евгений Рейн.
Фото Фреда Гринберга (НГ-фото)

играют объемом геометрические парадоксы, когда внутренняя сторона фигуры оборачивается вдруг внешней, а выпуклый предмет одновременно и вогнут; так вдруг подмигивают тайваньские красавицы на пластиковых открытках... Этот Ваня, которого оторвали от земли, совершенно, почти даже патетически трагичен и в этой трагичности вроде бы куда как серьезен, но фокус меняется, Ваня отправлен Кузнецовым на Луну, так как будто бы в никуда, в пустоту, где он повис, болтая ногами, и вместо патетики — гротеск, вместо трагедии — злая от безнадёжности и несправедливости бытия кузнецовская ирония...

Этот мир для Кузнецова ухнул в бездну и рассыпался в прах. В нем не осталось не только родины, но и вообще земли под ногами. Его не спасет и не исправит даже покая-

«Линия Маннергейма, глыбы дотов разбитых, / пионерский лагерь Архитектурного фонда... / Артур Челенгаров, Генрих Штейнберг, Битов... / На пляжах — колючка Ленинградского фронта. // Физкультурник Боб, пионервожатая Валя, / директор Иван Николаич. / Валуны на дамбах в ледниковом развале, / над которыми удочку наклоняешь. // (...) Сорок шестой. Шоколад на полдник (...) Еще можно найти и «шмайсер» и «трехлинейку», / «Железный крест» и «За боевые заслуги». / А будущий самоубийца Светлан Охрименко / утюжит матрасом белые брюки».

«Вчерашний день», точнее, загадка времени, бывшая основной философской и поэтической проблемой обэриутов, и прежде всего Александра Введенского, стала источником поэтики Евгения Рейна. День сегодняшний без музыки дня

ДВА МАСТЕРА

О поэзии Юрия Кузнецова и Евгения Рейна

Незабываемая поэзия. — 1998. — 17 сент. — с. 7.

Продолжение и развитие любой поэтики не может быть просто формальным; но только сущностным, и именно тут развивать поэтику Бродского дальше некуда: его голос — голос человека, исчерпавшего направление, его пафос — пафос прибывшего на конечную остановку с последним поездом...

Речь Бродского, по крайней мере сейчас, похоже, продолжена быть не может — мы еще провожаем в едва ли не ставший хоть не надолго, но магистральным в русской поэзии последний путь его эпигонов, но в конце концов должны все же открыться и другие, менее освоенные пространства и не настолько узкие и исчерпанные пути.

Надвигающаяся «молодая» поэзия звучит пока что неразборчивым гулом, но это гул новых кочевий — хотя направления их все равно (и закономерно) предопределяются влиянием поэтик уже состоявшихся мастеров. А самыми влиятельными в этой ситуации выглядят, пожалуй, два мастера: Юрий Кузнецов и Евгений Рейн.

Нет, кажется, в русской поэзии настоящего времени поэта более простодушного и в то же время более «себе на уме», более неосторожного в высказываниях, но и тщательного в выборе слов, более неуместного и одновременно философски глубочайшего, метафизически напряженнейшего — более противоречивого, сказал бы я сразу, если бы это что-нибудь проясняло, — чем Юрий Кузнецов. Он поэт невозможного, фантазмагорического сочетания какой-то доисторической, стихийной и дикой образности с совершенной ясностью классических форм русского стиха — словно бы человек неолита заговорил вдруг языком Пушкина:

Есть камень в широком поле,
На камне старик стоит.
Колени его ослабли,
И голос его дрожит.
Небу воздвигнет руки —
Руки горят огнем.
Долу опустит руки —
Они обрастают мхом.
Когда подымает руки —
Мир озаряет свет.
Когда опускает руки —
Мира и света нет.

Музыка его стиха как будто не знает иного ключа, кроме басового, даже ирония Кузнецова (открываю наугад — «Мужик»: «Птица по небу летает, / Поперек хвоста мертвец. / Что увидит, то смекает. / Звать ее всемоу конец» — и далее по тексту) звучит как густое «до» нижней октавы...

Поэзия Кузнецова — поэзия странных, темных, для читателя погребальных, как для самого поэта, посмертных будто уже видений, в ней весь вещный мир почти уже разложился, а от его предметов остались гротескные, убогоочные (в смысле стихотворения «недоносков» Баратынского) идеи и болезненные для памяти образы: «Не стыдите Ваню, не стыдите / За его беду или вину. / Отпустите Ваню, отпустите, / Отпустите Ваню на Луну! // Сами же вы, люди, оторвали, / Оторвали Ваню от земли, / Обобрали Ваню, обобрали: / Ни пера, ни пуха, ни семьи. // [...] От него осталось так немного / На мертвящем поприще труда. / Отпустите Ваню ради Бога, / И его забудьте навсегда».

Поэзия Кузнецова существует одновременно в двух смысловых планах: она двойится в пытающихся найти правильный фокус глазах и меняется в зависимости от напряжения зрачка и угла вашего зрения — так



Поэт Юрий Кузнецов.
Фото из журнала «Наш современник»

ние: «Мы сойдемся на святом пожарище / Угли покаяния собирать. / А друзья и бывшие товарищи / Будут наши угли воровать». Настоящее — катастрофично, будущее — воровато, прошлое — не лучше ничуть: «Все прах и тлен, как и во время оно». Эта реальность неправильна изначально, в ней свищет мировая пустота, и заполнить ее может разве что реальность мифо-поэтическая, на создание которой и направлена поэзия Кузнецова и в которой, даст Бог, «раскатается» в подлинное бытие подлинная же Россия, скатанная (едва ли не по афанасьевскому рецепту) Кузнецовым в мифологическое яйцо: «Я скатаю родину в яйцо / И оставлю чуждые пределы, / И пройду за вечное кольцо, / Где никто в лицо не мечет стрелы. / Раскатаю родину мою, / Разбужу ее приветным словом, / И легко и звонко запою, / Ибо все на свете станет новым»...

Поэзия Евгения Рейна — в противоположность кузнецовской — предельно вестественна. Если для Кузнецова только в поэзии осуществляется подлинность жизни, то для Рейна картины жизни и есть подлинная поэзия. Но жизнь эта уже пережитая, озвученная эстетической музыкой ностальгии и жалости к уходящему времени. Рейн сочувственно вглядывается не в миф, но в историю, ему жаль каждой, даже и безымянной крупинки проходящего быта и бытия, что еще мерцает на грани исчезновения, сохраненная только его памятью, и исчезнет, если он не удержит ее угасающее существо в своем слове, не окликнет ее по имени существительному...

прошедшего (не в том узком смысле, что в стихах Рейна постоянно цитируются и упоминаются шлягеры тех лет) — для Рейна несуществен, и он воссоздает эту музыку времени, по-своему разрешая проблему сметающей нашу жизнь секундной стрелки.

В последней пустой электричке
Пойми за пятнадцать минут,
Что прожил ты жизнь по привычке,

Кончается этот маршрут.
Выходишь прикуривать в тамбур,
А там уже нет никого.
Пропойца спокойный, как ангел,
Тудуп расстелил наголо.
И видит он русское море,
Стакан золотого вина.
И слышит, как в белом соборе
Его отвечает страна.

Двадцатый век — век окончательно беспочвенный, век выпавший из земли, как француз-путешественник из корзины воздушного шара; век-Колумб, уплывший в Индию по кратчайшему, но не нашедший ни Индии, ни Америки, ни пути назад, и в этом беспутстве, в пустоте и потерянности он готов обрадоваться, как родному, любому морскому чудовищу: он и сам для себя давно уже кошмар. И если Юрий Кузнецов, не приемля этой беспочвенности, движется через бездну осваивать смутные трансцендентальные пространства, находящиеся «за вечным кольцом», Евгений Рейн воссоздает и осваивает уходящее время и этой страны, и музефицированное общеевропейское, пытается отыскать и приспособить для человеческого существования хотя бы островки сохраненной памяти, чтобы, может быть, в конце концов сделать почву из времени...